

- 34 Там же. С. 99. Путь, как мы видели, также обращается к этой топике, хотя и не так педалирует ее.
- 35 "...ибо должно вам заметить, что Франческо сей был очень недурен собой"; "Вот какое завершение получила их великая любовь, и дай бог нам так же завершить нашу" и т. д. (Там же. С. 100, 107; курсив наш. — И. С.).
- 36 Цит. по: Мазуччо. Новеллино / Пер. С.С. Мокульского, М.М. Рындина, А.В. Топоровой. Общ. ред., вступит. статья и коммент. А.Д. Михайлова. М., 1993. С. 16.
- 37 Там же.
- 38 Там же. С. 17.
- 39 Возможно, слова Мазуччо следует понимать в том же смысле, в каком Поджо призывает пересказывать свои фацции "более изысканным слогом"; подтверждением тому служит посвящение новеллы 41 (той новеллы о фальшивом алмазе, которая будет впоследствии использована Рабле) Франческо Галеото: "Если от нежной музыки Амфиона двигались суровые камни, благороднейший мой Галеото, то неудивительно, что твой Мазуччо был подвигнут гармонией твоей сладчайшей лиры к созданию грубой своей рукой следующей новеллы и к посвящению ее тебе, предоставившему мне для нее кое-какие сведения. Поэтому я прошу тебя, чтобы, читая ее, ты не отказывался вносить в нее исправления, и если ты заметишь отклонения от правды или какую-либо ржавчину, в чем я не сомневаюсь, то ты это исправляй и приводи в порядок, чего я жду во имя нашей давней дружбы" (Там же. С. 307; курсив наш. — И. С.).
- 40 Там же. С. 376.
- 41 Там же. С. 288 (курсив наш. — И. С.).
- 42 "Мессер Бертрамо д'Аквино любит, но нелюбим. Муж любимой им дамы весьма расхваливает влюбленного, сравнивая его с соколом, вследствие чего жена решает подарить тому свою любовь. Они сходятся вместе; мессер Бертрамо спрашивает даму о причинах ее поведения. Из благодарности к мужу рыцарь не прикасается к даме, оставив ее пристыженной" (Там же. С. 182).
- 43 Там же. С. 219.
- 44 Там же. С. 244.
- 45 Там же. С. 267.
- 46 Там же. С. 379.
- 47 Ее разбор см., в частности: Баткин Л.М. Указ. соч. С. 145–147.
- 48 *Novelle del Quattrocento*. P. 543.
- 49 *Ibid.* P. 581.
- 50 *Ibid.*
- 51 *Ibid.*
- 52 *Ibid.* P. 534.
- 53 *Ibid.* P. 612.
- 54 "...Возненавидев прежнюю свою жизнь, стал <он> смиренным, учтивым, услужливым, доброжелательным, любезным, и благодарным, и скромным со всяким человеком, а особенно с Бартоломео..." (*Ibid.* P. 615).
- 55 *Ibid.*
- 56 *Ibid.* P. 628.

## ПОСТМОДЕРНИЗМ

С. Н. Зенкин

### “НЕПРИЯТИЕ ТЕОРИИ” И СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ<sup>1</sup>

ИСТОРИЯ СТРУКТУРАЛИСТСКОЙ и пост-структуралистской “теории” во Франции и США отмечена двумя знаменитыми дискуссиями (соблазнительно даже рассматривать их как ее начало и конец): это полемика Раймона Пикара и Ролана Барта о “новой критике” (1965–1966) и международное обсуждение антипостмодернистской мистификации Алана Сокала, начавшееся в 1996 г. Обе дискуссии носили очень резкий характер, смешивая интеллектуальные аргументы с моральными обвинениями. Достаточно сказать, что в заглавиях обеих книг, резюмировавших “антитеоретические” взгляды, содержалось одно и то же французское слово *imposture* (обман): книга Раймона Пикара называлась “Новая критика или новый обман?”<sup>2</sup>, а книга Алана Сокала и Жана Брикмона — “Интеллектуальные обманы”<sup>3</sup>. Защитники “теоретического” подхода к культуре также пользовались неакадемическими аргументами, пытаясь вскрыть под нападками на теорию личные или корпоративные интересы ее оппонентов: так, Ролан Барт в начале своей отповеди Пикару и поддерживавшим его журналистам писал, что “заговорило какое-то примитивное, оголенное начало”<sup>4</sup>, т. е. корпоративная солидарность “университетской критики”, ощутившей угрозу для себя, которая исходит от новых методов изучения литературы<sup>5</sup>. А некоторые участники споров вокруг А. Сокала, получивших необычайно широкий размах благодаря Интернету, усматривали в выступлении Сокала антифранцузскую вылазку со стороны американской на-

уки<sup>6</sup> или же “пиаровскую акцию” с целью получить дополнительные кредиты на развитие точных наук, финансовая поддержка которых сократилась с окончанием холодной войны<sup>7</sup>.

Моя задача — выяснить специфическую природу такой ожесточенности споров. Речь пойдет не об обоснованности отдельных тезисов, выдвигавшихся в ходе полемики (и касавшихся, например, таких вопросов, как релевантность математической и физической терминологии в гуманитарных науках или же “когнитивный релятивизм” в науках о природе), а только о формальной структуре этой полемики и о выводах, вытекающих из ее своеобразного устройства. Действительно ли современная “теория” дошла до пределов рационального исследования культуры, за которыми уже не остается более места для традиционного обсуждения идей и методов? Является ли неизбежным явлением современной культуры релятивизм критических дискурсов и их несопоставимость в регулярной научной дискуссии? Можно ли сказать, что ныне, когда проблема интерпретации ставится без всякой трансцендентальной опоры, вся западная цивилизация, родившаяся некогда из споров между греческими философами, демонстрирует свою усталость?

Обе дискуссии, о которых идет речь, носили *герменевтический* характер, т. е. их предметом являлось не установление или оценка фактов, а интерпретация текстов. Это очевидно в случае Пикара и Барта, споривших о смысле расиновских трагедий. Более сложен случай А. Сокала и его мистификации. В 1996 г. нью-йоркский профессор физики Сокал опубликовал в одном из американских гуманитарных журналов, “Соушел текст”, статью о влиянии гуманитарных наук на современную физику, после чего “разоблачил” сам себя в другой статье, объяснив, что первая была всего лишь розыгрышем, пародией на иррациональные методы так называемой “постмодернистской науки”. Как отмечает проанализировавший эту историю французский ученый Ив Жаннере, два первых текста Сокала составили “фундаментальное событие” всей “дискуссии об обмане”<sup>8</sup>; одновременно они образуют характерно герменевтическую структуру, так как второй текст проясняет смысл первого. А. Сокал смоделировал искусственный, условный акт интерпретации, где толкуемый текст и его толкование содержались “в одном флаконе”. Более того: первая, пародийная статья Сокала уже и сама носила интерпрета-

тивный характер. В ее гротескном, намеренно абсурдном заголовке — “Преодоление границ: к трансформативной герменевтике квантовой гравитации” — не случайно содержалось слово “герменевтика”. Один из пороков, в которых Сокал хотел изобличить “постмодернистскую науку”, состоит именно в тенденции толковать природные, физические явления релятивистски, как тексты в науках гуманитарных. Действительно, в рамках нерелигиозного мышления “квантовая гравитация” безусловно не может считаться “текстом” и интерпретироваться как факт культуры. Между тем “постмодернистская наука”, по словам Сокала-пародиста,

“деконструирует и преодолевает метафизические картезианские различия между человечеством и природой, наблюдателем и наблюдаемым, Субъектом и Объектом”<sup>9</sup>.

По мысли Сокала, “постмодернисты”, произвольно пользуясь терминами и идеями, импортированными из точных наук, неправоммерно “преодолевают границы” между природой и культурой, смешивая безличный природный мир с текстом, который кем-то написан. Таким образом, за искусственной парой “интерпретируемого” и “интерпретирующего” текстов (двух статей Сокала) проглядывает еще одна фантомная интерпретативная структура: предметом интерпретации в ней является релятивистская, псевдотекстуальная природа, какой она предстает в работах “постмодернистской науки”.

Чтобы понять смысл такой весьма сложной полемической конструкции, обратимся к старой дискуссии между Пикаром и Бартом, в которой проявилась эпохальная перемена в способах концептуальной интерпретации современной культуры.

Герменевтическая ситуация традиционно включает в себя две инстанции — толкователя и толкуемый текст, изначально разделенных культурной дистанцией, и задачей толкователя является как раз свести их вместе. Такая внешняя диспозиция может проецироваться внутрь текста: текст поддается толкованию постольку, поскольку содержит в себе *два или более смыслов*, налагающих друг на друга (в результате их исторического накопления или логического различения) и образующих *дискретную* структуру; эту дискретность последовательно ликвидирует герменев-

тическая работа, челночными движениями сшивая вместе разные семантические слои текста, делая их взаимно проницаемыми и понятными друг для друга. Задача герменевтики — превратить дисконтинуальность смысла в континуальность, причем эта операция опирается на живой опыт интерпретатора<sup>10</sup>.

Однако с конца XIX в. с вышеописанной моделью интерпретативного акта начала конкурировать другая. Марксистская критика идеологии (впервые разработанная в 1840-е годы, но получившая широкую известность лишь позднее), ницшевская генеалогия идей (1880-е годы), фрейдовский психоанализ (1890—1900-е), литературная теория русского формализма (1920-е) независимо друг от друга постулировали, каждый в своей области, новую, “модернистскую” модель смыслообразования: новый смысл теперь должен быть не найден в самом тексте, а выработан путем приложения к нему извне некоторой категориальной сетки; у этого нового смысла больше нет прямой связи со “старым”, очевидным смыслом; его релевантность доказывается независимо от непрерывного исторического контекста, системной силой категориальной парадигмы; наконец, подобный интерпретативный акт, в отличие от традиционной герменевтики, отдает предпочтение дискретному, а не континуальному. Идея “сильного” или “силового” прочтения (Г. Блум), связанная с авангардистским типом художественного творчества и с сосюрловской семиотикой произвольного знака, получила особую силу в 1960-е годы, в пору расцвета структурализма. Парадоксальным образом обвинительное слово *imposture*, использовавшееся анти(пост)структуралистской партией в обеих рассматриваемых здесь дискуссиях, как бы вновь обретает буквальный смысл латинского глагола *imponere* — “налагать”, “накладывать”. Действительно, даже когда новый смысл, созданный в рамках такой парадигмы, рассматривается как “глубинный” смысл текста или поступка, практически он возникает при *наложении* на текст некоторой внешней системы, интерпретативного кода.

Как же тогда можно оспаривать подобную интерпретацию? Только дискурсивным насилием, так как она сама, ее динамическая структура основаны на “силовом прочтении”. Разумеется, дискурсивное насилие всегда присутствовало в разнообразных спорах о разнообразных предметах, но в герменевтических дискуссиях современной

эпохи происходит своего рода резонанс — внешний силовой характер спора продолжает собой внутреннюю силовую природу толкования, приписывающего новые значения старым текстам. Эти два уровня текстуального насилия отражают и усиливают друг друга. Насилие здесь носит не акцидентальный, а сущностный характер, оно вытекает из внутреннего механизма смыслообразования, а не из личных характеристик участников спора. В самом деле, коль скоро аргументы изъяты из исторической непрерывности культурного развития, дающей опору для верификации, и основаны на дискретных интеллектуальных моделях, то участники спора неизбежно утрачивают общую почву и синтез их взглядов становится невозможным.

Под насилием здесь подразумевается не употребление грубых и оскорбительных выражений, но прежде всего фундаментальный полемический акт — отказ использовать концептуальный язык, предлагаемый и навязываемый другим интерпретатором. “Я не буду говорить на вашем языке, я не признаю вашего кода, я отвергаю ваши конвенции”, — говорит “антиреоретический” критик, оспаривая “силовую” интерпретацию своего оппонента.

Образцовым проявлением такой стратегии как раз и может считаться полемика Пикара с Бартом.

Признавая, что его противник — “человек системы”<sup>11</sup>, Раймон Пикар ополчается именно против его “системы”. Он отвергает бартовскую идею множественного, произвольного и презумптивного смысла текстов, которая в свою очередь предполагает в качестве своей единственной гарантии не живой опыт читателя, а системный принцип критики:

«Г-н Барт хотел бы полной определенности, а поскольку, как он уверяет, любое толкование предполагает некий произвольный выбор (“во все значения признаются презумптивными”), то приходится как бы компенсировать необоснованность утверждений их дерзостью и глубиной. Что за странная доктрина!»<sup>12</sup>.

“Компенсировать необоснованность утверждений их дерзостью и глубиной” — это и есть принцип “силового прочтения”: отдельный, изолированный критический тезис всегда будет “необоснованным” и может быть подтвержден лишь согласованной поддержкой других положений критика, образующих систему и обеспечивающих концептуальную “глубину”. И Пикар борется

именно с системой Барта, тщетно пытаюсь разбить согласованность его понятий. Он не прослеживает общую логику своего оппонента, а нападает на его частные утверждения; свою критику высказывает от имени "истины Расина"<sup>13</sup>, не сознавая, что его собственная интерпретация тоже носит системный характер и что "истина", на которую он ссылается, образуется именно рядом имплицитных интерпретативных актов.

Самый знаменитый эпизод этой полемики касался толкования французского глагола *respirer*, который встречается в трагедии Расина "Британник". Барт, интерпретируя ее в своей книге "О Расине" (1963), предложил рассматривать этот глагол с учетом его физиологического значения ("дышать"). Пикар резко критикует такое ошибочное прочтение: согласно ему, "истинным" значением глагола, т. е. его историческим значением в XVII в., было "передохнуть", "перевести дух":

"Пневматическая окраска (как выразился бы г. Барт) совершенно исчезла; тем, кто в этом сомневается, я бы посоветовал заглянуть в словарь..."<sup>14</sup>.

В своих поисках "истинного" смысла слов Пикар упускает из виду, что значение, которое он считает главным во французском глаголе, — это вторичный, фигуральный смысл, тогда как смысл, указанный Бартом, является как раз первичным и буквальным. И Барт возражает:

"Если, к примеру, я отметил, что в глаголе *respirer* чувствуется дыхание [...] то сделал это вовсе не потому, что якобы не знал значения, которое это слово имело в эпоху Расина (перевести дух), о чем, кстати, у меня и сказано [...] а потому, что словарное значение этого слова не противоречило его символическому смыслу, который в данном случае — причем как бы с нарочитой издевкой — оказывается его *первичным* смыслом"<sup>15</sup>.

Антуан Компаньон, вновь рассматривая сегодня этот момент старой дискуссии, замечает, что "в этом конфликте... сталкиваются два разных предпочтения, два этических или идеологических выбора [...] подчеркивание первоначального смысла или же сегодняшнего значения"<sup>16</sup>. Исследователь обоснованно подчеркивает произвольно-"насильственную" ("этическую или идеологическую") природу такого "выбора", позволяющего интерпре-

татору рассматривать разные смыслы текста как дисконтинуальные, не связанные вместе. Отдавая "предпочтение" "современному значению" перед "первоначальным смыслом", Раймон Пикар на самом деле осуществил ту же операцию, что и его оппонент, т. е. выстроил некоторую семантическую систему (в данном случае — систему "языка XVII века", которая может изучаться только как система) и отдал ей предпочтение перед другими системами, позволяющими объяснить расиновский текст. За его отказом следовать "произвольной" интерпретативной логике Барта скрывалась другая интерпретативная логика; с системой можно бороться только другой системой.

Так поступает и сам Барт, отвечая на критику Пикара в работе "Критика и истина" (1966). Более сознательно, чем его оппонент, подходя к явлению интерпретативной системы, он прямо у нас на глазах набрасывает целых три таких системы: 1) "университетскую критику", характеризующуюся неосознанным выбором своего герменевтического кода и представленную Раймоном Пикаром и прочими гонителями "новой критики"; 2) "науку о литературе", описывающую общие формы символизации лингвистическими методами; 3) наконец, "критику", т. е. толкование единичных текстов средствами некоторой свободно и сознательно избранной "идеологической" системы. Против одной неявной системы своего оппонента он выдвигает несколько различных и ясно осознанных систем, или "социолектов", как он стал называть их несколькими годами позже<sup>17</sup>. Благодаря такому умножению критических языков он выявляет недооцененную его противником герменевтическую проблему.

Итак, обсуждение "силовых" или "насильственных" интерпретаций заставляет не только строить новые критические языки, но и эксплицировать уже существующие. Иными словами, это опять-таки герменевтическая дискуссия, поскольку она вскрывает и проясняет смысл некоторого критического языка (например, языка "университетской критики"). Более того, полемическая операция разоблачения имплицитного критического языка точно соответствует собственно интерпретативной операции выявления первичного смысла слова (например, глагола *respirer*), скрытого под его позднейшим историческим значением. Как и в случае с полемическим "насилием", возникает изоморф-

ное соотношение или же резонанс между двумя уровнями — интратекстуальным и экстратекстуальным, между пониманием текста и дискуссией об этом понимании; оба процесса носят дисконтинуальный характер, так как сосуществующие смыслы лишены прямой связи между собой.

Итак, “логофетическая”, языкотворческая функция герменевтических дискуссий оказывается одновременно и *ревелиативной*. Чтобы эксплицитировать имплицитную интерпретативную систему, чтобы сделать явными ее понятия и предпосылки, оказывается необходимой специальная полемическая операция, которую нельзя назвать иначе, чем *провокацией*. “Сильные дискурсы” (Р. Барт), институционализованные интерпретативные коды, как правило, самодовольны, не формулируют сами своих собственных принципов и категорий, рассматривая их как нечто “естественное”, а потому нужен некий внешний импульс, чтобы привести их в движение, сделать их проблематичными.

Если провокативная сила бартовского прочтения Расина оставалась как бы невидимой до критической реплики Пикара, то в случае Алана Сокала провокативный смысл полемической стратегии был очевиден (правда, не для ее жертв) с самого начала. Публикуя псевдонаучную статью в уважаемом “постмодернистском” журнале, Сокал пытался расколоть монолитный язык этого интеллектуального течения на две инстанции: 1) настоящий “постмодернистский” дискурс, неспособный распознать подражающий ему пародийный текст; 2) свою собственную псевдопостмодернистскую шутку, доводящую до абсурда стереотипы подобного дискурса. Формально схожие между собой, пользующиеся одними и теми же интеллектуальными процедурами, словами и фразами (Сокал ввел в свою мистификацию ряд точных цитат из теоретиков “постмодернизма”), эти два дискурса радикально различаются по субстанции: один претендует на изречение чего-то существенного о мире человеческой культуры, второй же совершенно лишен существенного смысла. Он функционирует как “черная дыра”, высасывающая всякий смысл из “постмодернистской науки” и представляющая ее в виде чисто формальной языковой системы, в виде “языка”, не связанного необходимо с истиной. Структура этого языка актуализируется.

“Постмодернистский” язык, происходящий из того самого языка, который некогда был выработан Роланом Бартом и его соратниками, стал ныне, в некоторых американских и европейских университетах, “сильным”, даже господствующим дискурсом; он сделался столь же самодовольным и “надменным”<sup>18</sup>, как и дискурс “университетской критики” прошлого. Без сатирической провокации его познавательные принципы — именно в силу их неточности и логической сомнительности — вероятно, так и не были бы сформулированы столь радикально...

Я подчеркиваю эту “позитивную” сторону полемической провокации постольку, поскольку она осуществляется в герменевтической форме. Всех, кто читал статью-мистификацию и непосредственно связанные с нею тексты Сокала, а после этого книгу “Интеллектуальные обманы” (1997), написанную им в соавторстве с Ж. Брикмоном на ту же тему, должна была поразить их разница: по сравнению со статьей-мистификацией и ее театральным разоблачением книга выглядит скучным педантическим упражнением (возможно, обоснованным по сути, но это другой вопрос). Даже те, кто осуждал Сокала за нападки на современную/французскую гуманитарии, все же признавали блеск его выдумки:

“Бесспорно, это гениальный ход — переписать заново тексты Лакана, Деррида и Делёза, заставить прочитать их по-другому, в другом контексте, деконтекстуализировать и реконтекстуализировать их, сделать по-новому очевидными. Отсюда — единственный несомненный успех Сокала: на всем протяжении спора об интеллектуальном обмане все уже цитировали Лакана, Делёза или Кристеву, отбирая их тексты только так же, как и editor Сокал”<sup>19</sup>.

“Деконтекстуализация” и “реконтекстуализация” — это действительно два главных приема, использованных Сокалом в его статьях; и то и другое суть способы “редактирования” сочинений своих противников, позволяющие *силой* помещать некоторые цитаты из них в двухуровневую интерпретативную структуру; и здесь вновь повторяется уже знакомое нам явление резонанса: полемическому “редактированию” цитат Сокалом соответствует на микроуровне *силовое* приписывание новых смыслов уже существующим словам (математическим или физическим терминам), в чем уже сам Сокал уличает своих оппонентов. Симулятивная герменевтическая форма, которую он придал своей затее,

сопровождается действительными герменевтическими процедурами, применяемыми к предмету его критики.

Природу этого предмета не так-то легко определить. Противники “теории”, Пикар и Сокал, иногда характеризуют ее как “идеологию”. В первом случае имелось в виду не столько марксистское, сколько повседневное значение этого слова во французском языке: “идеология — это идеи моего противника”, система, с которой я не согласен. Соответственно Пикар именовал своего противника Барта изобретателем “идеологического импрессионизма”<sup>20</sup>. Во втором случае слово “идеология” употреблено Сокалом более ответственно, в связи с “левой” политической идеологией: “Политически меня раздражало то, что многие (если не все) эти глупости исходили от так называемых Левых”, — пишет он и предполагает, что его статья-пародия была принята к публикации в журнале “Сошел текст” потому, что “льстила идеологическим предрассудкам редакторов”<sup>21</sup>. Здесь идеология, очевидно, означает любую концептуальную систему, основанную на произвольных принципах и стремящуюся превращать мнения своих противников в пассивный объект, навешивая на них политический ярлык.

Однако сам же Сокал предлагает еще и другую характеристику “постмодернистской науки”, указывая на ее *литературное* происхождение:

«...то, что “Сошел текст” взял мою статью, служит примером интеллектуального высокомерия Теории — в смысле постмодернистской *литературной* теории, — доведенной до своего логического предела»<sup>22</sup>.

В самом деле, так называемая “постмодернистская наука” первоначально завоевала себе плацдарм именно в литературной теории (или “французской теории”, как ее называют в англоязычных странах). Уже цитированный выше А. Компаньон характеризует ее как “последний европейский интеллектуальный авангард”<sup>23</sup>, сочетавший в себе черты “науки” и “литературы”; признаком этого как раз и явилась в свое время дискуссия между Пикаром и Бартом. А как отметил Поль де Ман в статье “Неприятие теории” (“The Resistance to Theory”), ее проблематический статус, возможно, обусловлен ее же собственной структурой:

“Неприятие [теории], возможно, встроено в сам ее дискурс, что, по-видимому, немисливо в науках о природе и запрещено в науках об обществе”<sup>24</sup>.

Литературная теория рождается из литературы, из “риторического и тропологического измерения языка”<sup>25</sup>, когда язык делается свободен от связей с референтом. С помощью своих специфических терминов литературная теория формулирует эту свободу (само)интерпретации, (само)прочтения, обретенную современной литературой; так что в конечном счете “неприятие теории... это неприятие чтения”<sup>26</sup>. Теперь нам становится яснее смысл современных герменевтических дискуссий, происходят ли они на восходящей стадии развития литературной теории (как было в случае с бартовским прочтением Расина) или на ее нисходящей стадии (как в случае Алана Сокала, имеющего дело с широко распространившейся, достигшей господства и “надменности” “французской теорией”). Эти дискуссии суть факты развития современной *литературы*, распространяющей действие своих законов на внелитературные области, стремящейся аннексировать некоторые территории, которые ранее принадлежали “научным” дисциплинам. Посредством такой провокации литература делает очевидными нестабильность и сомнительность некоторых институционализованных интеллектуальных практик, затевая с ними герменевтические дискуссии. Эти дискуссии, несмотря на неотъемлемо присущее им дискурсивное насилие, в конечном счете способствуют прояснению эпистемологических основ научных дискурсов и их соотношения с ненаучными, “художественными” областями культуры. Это и есть “истина”, рождающаяся в подобных спорах.

1 Русский текст доклада на международной конференции “Quarrels, Polemics and Controversies”, организованной Международным обществом интеллектуальной истории в Кембридже (Великобритания) в июле 2001 г. Исходный текст — на английском языке (Intellectual News. Spring 2003. № 12.)

2 Picard R. Nouvelle critique ou nouvelle imposture? P., 1965.

3 Sokal A., Bricmont J. Impostures intellectuelles. P., 1997.

4 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 320 (“Критика и истина”, 1966).

5 Polemica вокруг бартовского прочтения Расина отнюдь не закончилась спором Барта и Пикара. Другой французский литературовед Рене Помье

- словно унаследовал дело скончавшегося в 1980 г. Пикара и уже после смерти Барта (также умершего в 1980 г.) выпустил против него памфлет, отличающийся еще более резкими выражениями: *Pommier R. Le "Sur Racine" de Roland Barthes. P., 1988.* С течением времени враждебность "университетского" литературоведения к работам Барта словно обостряется.
- 6 *Kristeva J. Une désinformation // Le Nouvel Observateur. 1997. N 1716. P. 122.*
- 7 *Fleury V., Yun Sun Limet. L'escroquerie Sokal-Bricmont // Libération. 1997, 6 octobre. P. 5.* Слово *escroquerie*, "мошенничество", взято из того же лексического поля, что и *imposture* в заглавии книги Сокала/Брикмона. Истории "казуса Сокала" посвящено уже несколько книг; последняя из известных мне написана на испанском языке: *Canaparo C. The Sokal & Co. Affaire. La Protesta Ediciones. July 2001.*
- 8 *Jeanneret Y. L'affaire Sokal ou La querelle des impostures. P., 1999.*
- 9 *Sokal A., Bricmont J.* *Op. cit.* P. 336; здесь цитируется оригинальный английский текст статьи Сокала (впервые напечатанный: "Social Text". 1996. N 46/47) по электронной публикации: [www.libe.fr/sokal/parody.html](http://www.libe.fr/sokal/parody.html). В этой первой версии фраза звучит как одобрение "постмодернистской науки"; ее истинный насмешливый смысл выяснился лишь позже.
- 10 Данное изложение в основном следует концепции П. Рикёра, изложенной в его книге "Конфликт интерпретаций" (1969).
- 11 *Picard R. Op. cit. P. 35.*
- 12 *Ibid. P. 73.*
- 13 *Ibid. P. 69.*
- 14 *Ibid. P. 53–54.*
- 15 *Барт Р. Указ. соч. С. 326.*
- 16 *Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл. М., 2001. С. 105.*
- 17 Если не считать "университетской критики", здесь перечисляются гипотетические, не существующие реально системы, которые Барт лишь предполагает создать; так, постулируя "науку о литературе", он тут же делает осторожную оговорку — "если подобная наука однажды возникнет" (*Барт Р. Указ. соч. С. 355*).
- 18 Слово употребляется самим Бартом при критике властных социологов в книге "Ролан Барт о Ролане Барте" (1975).
- 19 *Jeanneret Y. Op. cit. P. 47. Editor (англ.) — редактор.*
- 20 *Picard R. Op. cit. P. 76.*
- 21 *Sokal A. A Physicist Experiments With Cultural Studies // Lingua Franca. 1996. N 6 (4); цит. по электронной публикации: www.libe.fr/sokal/reveal.html.*
- 22 *Ibid.* Курсив А. Сокала.
- 23 *Compagnon A. L'exception française // Où en est la théorie littéraire? (Textuel. N 37.) P., 2000. P. 44.*
- 24 *Man P. de. The Resistance to Theory. Minneapolis; L., 1986. P. 12.* Между прочим, этим замечанием заранее опровергаются упреки Сокала и Брикмона в адрес "теории" с точки зрения "наук о природе", *если понимать эти упреки как чисто научные, а не литературные.*
- 25 *Ibid. P. 17.*
- 26 *Ibid. P. 17–18.*

ИЗ АРХИВА